



АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ
ПРОСТАЯ ДУША

Литрес 

Алексей Николаевич Толстой

Простая душа

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=5317725

ISBN 978-5-4467-0496-5

Аннотация

«Давно это было, – летом. Работала Катя домашней портнихой у докторши Бондаревой в Серебряном Бору, на даче «Ландыш»...»

Содержание

| | |
|---|----|
| 1 | 4 |
| 2 | 6 |
| 3 | 10 |
| 4 | 15 |

Алексей Толстой

ПРОСТАЯ ДУША

1

Катю, портниху, не знали? Очень хорошая была портниха и брала недорого. А уж наговорит, бывало, во время примерки, пока с булавками во рту ползает по полу, – прикладывает, одергивает, – узнаете все, что случилось захватывающего на Малой Молчановке. А если начнете бранить, – отчего обещала и не принесла платье, – заморгает глазами:

– Верю, верю, мадам, вы совершенно вправе сердиться.

Вывески у Кати не было, жила на Малой Молчановке, в низку, на углу, против Николы на Курьих Ножках, когда войдете в ворота, – направо ее дверь.

Катя весь день сидела у окошка, откусывала нитки, встряхивала кудрями, – кудри свои, не подвитые. Помощница, веснушчатая девочка, наметывала платье на манекене. В комнате две клетки с птицами, картонки, свертки повсюду, перед зеркальцем бумажные розы и карточки на стене.

Госпожа Бондарева, докторша, всегда – пойдет гулять – остановится у окошка, разговаривает:

– Катя, опять вы меня обманули, не принесли платья. Вы, Катя, бессовестная.

– Извиняюсь, мадам, здравствуйте. Я вас вполне понимаю, что вы окончательно вправе сердиться.

Катя небольшого роста, в шелковых чулках, в башмачках с большими бантами, в синей юбке, до того короткой и легкой, что – бежит по улице с картонками, все на нее косятся. премиленькая фигурка. И всегда, выходя со двора, накидывала синюю же душегрейку с мехом, – будь хоть июль месяц, пекло: мех Кате к глазам.

А глаза очень были недурны: ясные, иногда чуть-чуть припухшие, не то от слез, не то от бессонной ночи.

Но судить ее никто не смел. Катя была девушка холостая, одинокая, сама на себя работала, а если и влюблена была постоянно, в особенности по осени и в осенний сезон, то, может быть, и сама не рада была своему такому характеру и делала это совсем не для того, чтобы досаждать заказчицам.

2

Давно это было, – летом. Работала Катя домашней портнихой у докторши Бондаревой в Серебряном Бору, на даче «Ландыш».

С утра вертит машинку, улыбается полотняным строчкам, пожимает плечиками, потом облокотится и глядит в окно. Ах! Воспоминания!

За окном жара, стонут куры, скрипит гамак, маются между сосен барышни, сестры Бондаревы. За кустами, за забором – дзынь, дзынь – прошел кавалерист. Труба заиграла в Фанагорийском полку. Ах! Воспоминания!

Быстро, быстро крутит Катя машинку. Зовут обедать. Она садится к столу аккуратно, – руки сложила, губы поджала, – все, как полагается девушке с самолюбием. Бондарев извиняется перед ней, что в подтяжках, пьет водку, отдуваясь, глядит в суп. Барышни томятся, не хотят кушать, мальчишки Бондаревы, недоступные никакому воспитанию, крошат хлеб, щиплются под столом, от докторши пахнет валерьяном, одна Катя сидит в мечте. На вопрос: «Еще, Катя, супу?» – вздрагивает.

– Мерси. Аппетиту нет.

Какая там еда! В шесть часов Катя складывает шитье, отряхивает юбку от ниток и бежит на террасу, зовет Капитолину, горничную, – она в полном подчинении у Кати и тоже

в мечте.

– Капитолина, идите брать урок танцев.

Капитолина появляется из-за погребницы, на ходу вытирает руки, бросает фартук в акацию. Катя говорит:

– Станьте в позицию. Па-де-катр. Слушайте музыку: «Мамаша, купите мне пушку, я буду стрелять» (так подпевали юнкера на балах). Легче, легче, Капитолина. Воздушной. Не так, не так. Боже мой!

Отстраняет Капитолину и, подобрав юбку, летает по балкону.

– И-ах! И-ах! И-ах!

А вечером, не загаснет еще заря, не высыпают еще звезды над высокими соснами, над Ходынским полем, – уж несутся издалека звуки вальса. Ту... ту... ту... – трубят фанаторийцы в медные трубы на берегу Москвы-реки, на кругу, за лесом.

Катя в газовом шарфе, а с ней Капитолина – бегут на круг, – по дороге появляется из темноты высокий юнкер, расставляет ноги, подхватывает под руку бегущую девушку.

– Прошу на вальс.

Ну, как не закружиться голове? И возвращаются Катя с Капитолиной на рассвете, когда догорели в листьях фонарики, затихли шаги, упала роса на траву, на листья.

Перелезут через плетень. Ложатся в постель. Катя закинет руки, глядит в бревенчатый потолок.

– Капитолина, Капитолина, никто не может понять моих

чувств.

В то лето фанагорийцы ушли на войну. Утром рано заиграли трубы в лагерях, и барышни, швейки, горничные, кто в туфлях на босу ногу, кто в накинутой на рубашку шали, простоволосые, иные заплаканные, и все печальные – собрались на поле.

Медленно, длинной пылящей колонной уходили фанагорийцы. На спинах до самого затылка навьючен скарб, штыки Торчат щетиной, топают тяжелые сапоги, лица строгие, разве крикнет с края кто помоложе: «Эй вы, голубки, прощайте!»

Верхом на смирной кобыле – командир, усатый, с подусниками, сидит бодро, глаз не видно из-под бровей. У стремени его шагает командирша, загорелая женщина с мальчиком на руках.

Вдруг высокий голос запел: «Взвейтесь, соколы, орлами», – и густая, тысячеголосая грудь подхватила песню. Заплакали женщины, побежали дети вслед. И колонна потонула вдали, в пыли.

Ушли, – и назад не вернулся ни один.

Катя стояла у дороги, и слезы текли у нее из глаз.

– Капа, Капа, жить неохота, – повторяла Катя и медленно вместе с женщинами и детьми вернулась в опустевший Серебряный Бор.

Заколачивали дачи. Поутру солнце всходило бледное, осеннее. И птицы пели по-иному. Катя купила географическую карту и воткнула булавку в то место, где кровь проли-

вает знакомый юнкер.

А потом булавочка затерялась, карту засидели мухи. Чуть-чуть не полюбила было с горя близорукого какого-то студента, но сама его бросила. Хотела пойти в милосердные сестры и раздумала, – побоялась своего характера.

В домах, где прежде шила, везде горе. Какое уж шитье! Тогда-то Катя переехала на Малую Молчановку, взяла в ученицы веснушчатую девочку Саньку и в комнате над окном повесила двух птиц – снегиря и перепела: один пел поутру хорошо, другой к вечеру – скуку разведали.

Грустное житье. Улицы пустые. На женщинах траур. Галантерейные приказчики стали злые, как собаки. Дороговизна. Проходит зима и лето. Года проходят. И все еще воют, поделить не могут чего-то. А народу, народу бьют!

Троих Катя проводила на вокзал за это время. Невеселая была любовь ни с одним, больше от жалости бегала видаться, а ночью не спала, вздыхала, бранила Саньку, чтобы не сопела, не будила птиц.

Проводит, поскучает, потом прочтет в газетах: убит на поле славы.

Шьет у окна Катя, мелькает иглой и думает: «Где это поле славы, где столько народу побито? Посидела бы у этого поля, поплакала».

3

Однажды Катя пришла Великим Постом к докторше Бондаревой и только набрала в рот булавок, приготовилась разговаривать, – в прихожей зазвонил телефон, и сам Бондарев визгливым голосом спрашивает, чуть не лает в трубку:

– Что? Быть этого не может! Невероятно! Батенька мой, поздравляю!

Вбежал в комнату, красный, бороду захватил и в рот сует.

– Ну, Катя, – говорит, – поздравляю, Катерина Николаевна. Теперь вы свободная гражданка, позвольте пожать руку.

Потом кинулся к себе в кабинет, двери настежь и видно – на электрическом кресле сидит пациент, и Бондарев водит по нему железными щетками, не столько водит, сколько в лицо сует, – пускает искры, кричит:

– Дожили, батенька мой, до красного денечка!

На другой день побежала Катя на Красную площадь глядеть, как пушки возят, как сдаются в Кремле запасные солдаты, как по Никольской ведут приставов без шапок, с порванными погонами, как вешают красный флаг на Минина, как на кучу талого снега взлезла барышня в сбитой шляпке и с саблей и все повторяет тонким голосом: «Товарищи, товарищи...» А что «товарищи», за шумом не было слышно.

Забилось у Кати сердце от всего этого, точно лед растаял. И влюбилась она в университете на митинге в студента. Он

стоял у колонны, глядел исподлобья, личико бледное, суровое, а глаза – как у женщины, палец заложил за мундир, причесан на пробор, чистенький весь и на Катю решительно не обратил никакого внимания.

Катя на другой день опять в университет побежала, – его нет. Обегала за две недели все митинги. Досада ее брала – самолюбие, а едва заметит студенческую фуражку, – сердце в колени валится. Заказчицам на все упреки отвечала: «Вы совершенно в праве, мадам, сердиться».

Наконец на Тверском бульваре видит, сидит он. Газету от себя отстранил, думает. Катя села на ту же скамью и дух едва переводит...

– Извините, – говорит, – что я к вам обращаюсь, я ваше лицо на митинге видела, давно хотела спросить...

Покраснела, хоть плачь: что хотела спросить-сама не знает, как дура...

– Так уж я и подумала, – встречу, спрошу, какие мне книжки почитать. Говорят, теперь всем приказано книжки читать, а какие – не сказывают. Так я к вам, извините...

Он спросил, кто она, как зовут, спрятал газету в карман.

– Приходите ко мне на Бронную. – Простился вежливо и пошел.

Жил он в комнате одиноко. У стола на полочке – книги, за ширмой чистая кровать. На рукомоёмнике – душистое мыло. Светло, опрятно. Звали его Сергей Сергеевичем.

Катя в первый же день рассказала ему свою жизнь, пла-

кала. Сергей Сергеевич предложил читать вслух историю французской революции. Бывало, сядет в кресле, наденет очки, перевернет страницу и посмотрит строго. Катя сидит напротив. Так бы и умерла около него. За чтением разговаривали:

– Катя, вам нравится Марат?

– Что вы, такой кровожадный...

– А что вы думаете, Катя, о современных событиях?

– Так что же, Сергей Сергеевич, думать-то, – свободу дали. Теперь все стали сознательные. Я вот давно вас спросить собираюсь – за какой список подавать? Намедни ко мне в мастерскую заходил один, все повторял: «Гражданка, мы в ваших руках...» – за него, что ли? Ах, теперь только и жить...

– Нет, Катя, из нас мало кто останется в живых...

– Ох!

– У меня, Катя, предчувствия очень тяжелые...

– О-ох!

В то время над Москвой стояла ясная луна. В ее свете по сырым бульварам бродили парами солдаты с дамами, грызли подсолнухи, целовались. Из темных подвалов выходили швейцары томиться на свет. Подвальные жители высовывались в окошки над тротуарами, глядели вверх неподвижно. По всему городу цвели липы.

Сергей Сергеевич сидел на окошке. Он был в кителе и качал ногой, затем поднял и опустил плечи.

– Какая глупая ночь, Катюша, – сказал он. – Оказывается,

и во время революции светит луна, пахнут липы.

Катя стояла близко около него и подумала: «Неужели начинается чудный роман?» И прошептала:

– Прекрасный запах.

Тогда Сергей Сергеевич опустил руку, и Катя заметила, что рука его ползет и вдруг коснулась ее локтя. Катя негромко вздохнула. Он спросил, усмехаясь:

– Вы на луну смотрите?

– Не знаю.

– Вы сегодня странная. (Она смолчала, сердце начало колотиться.) Вы любите музыку?

Действительно, внизу играли на рояле, – томилась от луны и революции еще чья-то душа.

Катя не ответила. Он прыгнул с окна и стал рядом, так же как и она, облокотился. Внизу лежали, поблескивающие с одной стороны от лунного света и темные с другой, крыши, – множество крыш.

Сергей Сергеевич осторожно повернулся к Кате. И она повернулась, взглянула в глаза без улыбки, раскрыла губы.

Тогда между их лицами зазвенел комар, появился золотистой точкой. Сергей Сергеевич усмехнулся и поцеловал Катю в рот. Она, не отрываясь, подняла руки, обхватила ими его шею и закрыла глаза.

После этой ночи Сергей Сергеевич перестал читать историю французской революции. Его пальцы теперь были в чернилах. Однажды он, покраснев до пота на лбу, прочел ей сти-

хотворение:

И вот любовь рукою смуглой
Опять стучится в дверь мою.
.....

Но все это неожиданно кончилось, оборвалось. Из Рязани пришла телеграмма. Сергей Сергеевич уехал, не успел даже проститься, оставил только записочку: «Случилось страшное несчастье. Прощай. Нежно целую тебя, Катя. Спасибо, милая, за дружбу. Наш дом и все, все сожжено. Что с мамой и сестрами, – не знаю».

У Кати остались только листочки со стихами, она носила их под рубашкой. Мурлыкала целый день, сидя за работой, «Пускай могила меня накажет»– и вела себя очень строго... Это была любовь, как в книжке, и если бы не дороги материи, сшила бы себе траур, – так было грустно ей на душе и сладко.

4

А жить становилось все страшней. Начались безобразия по ночам. Ограбили мадам Кошке на Малой Молчановке, – забрались десять человек в масках, самого Кошке связали, избили, мадам от страха впала в столбняк, ее раздели дочиста. Потом ночью у подъезда ограбили председателя домового комитета, проломили голову. Что ни ночь, то на Малой Молчановке – шалости и грабежи.

Катя догадывалась, чьих рук это дело, но пока молчала. К ней повадился шляться под окошко Петька (отец его держал обойную мастерскую), хвастался, показывал золотые часы. Приходил в сумерки с гармоникой, садился с улицы на подоконник, играл «двусцеп», – никак отвязаться было нельзя.

Потом стал предлагать подарки. Хвалился засыпать деньгами. Катя отказывалась, гнала его с окошка.

В осеннюю ветреную ночь Катя увидела сон, будто входит к ней Сергей Сергеевич, держится рукой за лоб. Сел на стул, наклонился, белый, как полотно, и кровь у него сочится между пальцами.

Катя закричала, перепугала Саньку и так начала плакать, будто душа в слезах уходила.

– Саня, Санечка, тоска смертная. Жить плохо. Поди, дай мне водицы. Никого на свете нет у меня, Санька, – и стучала о стакан зубами, – закопают меня на кладбище, один ветер

меня пожалеет.

На другой день, чуть свет, проснулась она от частой далекой стрельбы. Санька бегала за угол, вернулась такая, что все веснушки проступили.

– На Воздвиженке всех режут, девушка, – и полезла головой под подушку.

Катя пошла на Арбат. Там стоял народ кучками на углах, слушали, посмеивались, никто ничего не знал.

Стреляли пушки. Тукали часто, гулко пулеметы. Пролетали пульки с пением. Прогремел грузовик, полный солдат и ружей, за ним побежал студент и влез. Ждали каких-то казачков.

Худая старуха, вздохнув, сказала Кате:

– Большаки под колокольню подкоп ведут. Тысячи народу перебили.

К вечеру появились патрули и разогнали праздный народ по домам.

Катя не зажигала огня, сидела впотьмах и слушала. Прощли медленно двое за окном, один проговорил: «Застали на чердаке и прикололи, а интеллигентный был человек». Мелькнула искорка, и неподалеку хлестнуло, как кнутом. Вдруг зачавкало железом, проезжал извозчик. Грубый голос крикнул: «Кто едет?» Стук подков сразу замолк. Катя ждала – убыют или нет. Но подковы опять зазвякали. Катя сидела, покачиваясь, и задремала понемногу.

Легкий стук в окно разбудил ее.

Санька зашептала:

– Девушка, лезут к нам, боюся.

Катя соскочила с постели, подбежала к окну. За ним стоял смутной тенью человек, солдат, с ружьем, один. Он опять постучал осторожно. Катя раскрыла форточку.

– Что вам нужно? Спать не даете. Уходите от окна...

– Катя, – сказал солдат насмешливо и повторил ласковее: – Катюша.

Катя до того испугалась этого голоса, так трястись начали коленки, вцепилась в занавеску.

– Сергей Сергеевич, миленький, вы ли?

Он проговорил все так же тихо:

– Нет ли чаю горячего? Мы очень прозябли. Здравствуй, Катюша.

От стены отделились еще двое. Стали рядом, оперлись на ружья.

– Вот бы чайку теперь. Спасибо сказали бы.

Катя в кухне собрала чай. Осторожно, скрипнув калиткой, прошли все трое, в серых шинелях, в тяжелых грязных сапогах, сели к столу, ружья поставили между колен, повесили картузы на штыки, стали дуть в блюдечки, побрякивать. У всех троих повыше локтя черная нашивка – углом.

Сергея Сергеевича узнать было нельзя, – раздался в плечах, обветрил, оброс кустиками, только лоб остался прежний, белый, чистый. Катя даже сесть около него не смела, – взглядывала украдкой.

И не успела налить по второму стакану, – послышался с улицы свист. Они вскочили, поправили пояса, сумки и вышли.

В снях Сергей Сергеевич обернулся, взял Катю за плечи, взглянул в лицо строго и, не целуя, прижал к себе. Никогда Катя не могла забыть запаха солдатской его шинели, ремней, табаку. Не сдержалась, заплакала. Он сказал: «Ну, ну, перестань», поправил картуз, перекинул винтовку и вышел.

Катя прождала весь следующий день. К вечеру пришел юнкер с запиской от Сергея Сергеевича, попросил кипятку, хлеба и папирос, и, сколько ни отговаривал Катю, она собрала все, что было съестного, и побежала к Никитским воротам.

Далеко вокруг, озаряя кривые переулки, пылал огромный гагаринский дом. Грохотали залпы. Со всех чердаков, из окон, из-за деревьев выскакивали длинные огненные иглы выстрелов. Иногда темная фигура перебегала от дерева к дереву. На песке бульвара, красном от зарева, поблескивающим корками льда, валялись, как мешки с поклажей, пять-шесть убитых. Катю не хотели пускать, она отвечала:

– Найду и найду его, хоть убивайте меня. Приказал чаю принести, и принесу. Пустите.

Спотыкаясь, скользя по ледяному бульвару, Катя добралась до канавы, вырытой поперек проезда. В ней лежали люди в шинелях. Стреляли из канавы, и с Никитской, и с переулка, – отовсюду.

Катя стояла за деревом, глядела на страшный дом. Там в окнах закручивалось пламя и появлялись какие-то люди, точно хотели броситься вниз. Одна фигура застряла в окне, растопырив руки.

Катя охнула, закричала:

– Сергей Сергеевич, где вы?

Ее не захотели слушать, прогнали, и вдогонку хриплый голос из канавы крикнул:

– Не туда идешь, дура, он – около Чичкина лежит.

Сергей Сергеевич лежал около лавки Чичкина, у самой стены. Шинель на нем коробилась, как неживая, пыльная. Голова закинута навзничь, рот приоткрыт, из темени по асфальту растекалась темная лужа.

Катя присела около него и долго, долго глядела в лицо. Оно было не то – любимое, – не его лицо. Прах оскаленный. Потом она взяла чайник и пошла обратно. Сняла с плеч, накинула на голову платок, опустила его на глаза.

Вечером на седьмые сутки Москва погрузилась в желтоватый туман. Затихли выстрелы. Провыл последний снаряд из тумана. И кончилось сражение.

Утром Катя вышла купить молока. На перекрестке стоял бородатый решительный мужчина в шляпе, рослый, с черными от пороха руками, – выдавал пропуска. Госпожа Бондарева, – за эту неделю сморщилась, как гриб, – подошла к Кате, шепнула:

– Смотрите, милая моя, какой стоит с бородищей, – как

же нам жить-то теперь?..